Л. ТРОЦКИЙ ЛЕНИН · СТАРАЯ ИСКРА





Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИСТПАРТ
КОМИССИЯ по ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и Р. К. П. (б-ков)

Л. Д. ТРОЦКИЙ

ЛЕНИН И СТАРАЯ „ИСКРА“



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИСТПАРТ

КОМИССИЯ по ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и Р. К. П. (б-ков)

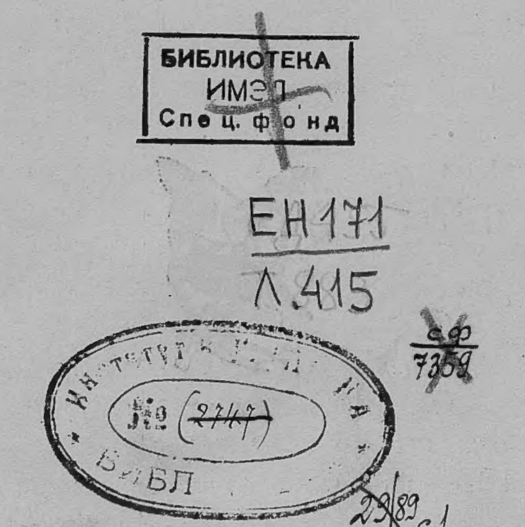
Л. Д. ТРОЦКИЙ

ЛЕНИН И СТАРАЯ „ИСКРА“

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА



Гиз № 7221. Главлит № 20305. Москва. Напеч. 35.000 экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография. Москва, Пятницкая, 71.

ЛЕНИН И СТАРАЯ „ИСКРА“.

(Материалы для биографа.)

> „Раскол 1903 г. был, так сказать, антиципацией (предвосхищением)...“
> (Слова Ленина из беседы 1910 г.)

Несомненно, что для будущего большого биографа Ленина период старой „Искры“ (1900—1903 г.г.) представит исключительный психологический интерес и, вместе с тем, большие трудности: ибо именно за эти короткие годы Ленин становится Лениным. Это не значит, что он дальше не растет. Наоборот, он растет — и в каких пропорциях! — и до Октября и после Октября. Но это уже рост более органический. Велик был прыжок из подполья к власти 25 октября 1917 года; но это был внешний, так сказать, материальный прыжок человека, который все, что можно взвесить и измерить, измерил и взвесил. А в том росте, какой предшествовал расколу на 2-м съезде партии, есть незаметный внешнему глазу, но тем более решительный внутренний прыжок.

Настоящие воспоминания имеют своей целью дать будущему биографу некоторый материал, относящийся к этому чрезвычайно знаменательному и значительному периоду в духовном развитии Владимира Ильича.

Сейчас, когда пишутся эти строки, с того времени прошло уже более двух десятилетий, и притом десятилетий, весьма обременительных для человеческой памяти. Это может породить естественные опасения: в какой мере то, что здесь рассказано, правильно воспроизводит то, что было на деле. Скажу, что такое опасение было отнюдь не чуждо мне самому и не покидало меня во все время этой работы: неряшливых воспоминаний и неточных свидетельств и без того слишком много! Под руками у меня, когда писался этот очерк, не было решительно никаких документов, справочников, материалов и пр. Думаю, однако, что это к лучшему. Мне приходилось опираться только на память, и я надеюсь, что ее самопроизвольная работа при таких условиях была несколько более ограждена от непроизвольной ретроспективной ретуши, которой так трудно избежать даже при самой критической самопроверке. Да и будущему исследователю облегчается этим проверка, когда он займется ею, взявши в руки документы и всякие вообще материалы, относящиеся к тому времени.

Местами я привожу тогдашние беседы и споры в диалогической форме. Разумеется, вряд ли можно претендовать на точную передачу диалогов два с лишним десятилетия спустя. Но суть, как мне кажется, я передаю вполне верно, а некоторые, наиболее яркие выражения—дословно.

Так как речь идет о материалах для биографии Ленина, следовательно, о деле исключительной важности, то может быть мне позволено будет сказать несколько слов о некоторых свойствах моей памяти. Я очень плохо запоминал расположение городов и даже квартир. В Лондоне, например, я не раз плутал на

небольшом сравнительно расстоянии между квартирой Ленина и своей собственной. Долгое время я очень плохо запоминал человеческие лица; но в этом смысле я сделал весьма значительные успехи. Зато я очень хорошо запоминал и запоминаю идеи, их сочетание и беседы на идейные темы. Что эта оценка не субъективна, я имел возможность убедиться путем проверки много раз: другие лица, присутствовавшие при той же беседе, что и я, передавали ее нередко менее точно, чем я, и принимали мои поправки. К этому нужно прибавить то обстоятельство, что в Лондон я прибыл молодым провинциалом и очень хотел как можно скорее все узнать и понять. Естественно, если разговоры с Лениным и другими членами редакции „Искры" крепко врезывались в память. Вот соображения, которых пе сможет не учесть биограф при оценке степени достоверности печатаемых ниже воспоминаний.

* * *

В Лондон я приехал осенью 1902 г., должно быть в октябре, ранним утром. Нанятый мною мимическим путем кэб доставил меня по адресу, написанному на бумажке, к месту назначения. Этим местом была квартира Владимира Ильича. Меня заранее научили (должно быть, еще в Цюрихе) стукнуть соответственное число раз дверным кольцом. Дверь мне открыла, насколько помню, Надежда Константиновна, которую, надо думать, я своим стуком поднял с постели. Час был ранний, и всякий более опытный и так сказать более привычный к культурному общежитию человек посидел бы спокойно на вокзале час—два, вместо того, чтобы ни свет ни заря стучаться в чужие двери. Но я еще был

полон зарядом своего побега из Верхоленска. Таким же приблизительно образом я потревожил в Цюрихе квартиру Аксельрода, только не на рассвете, а глубокой ночью. Владимир Ильич находился еще в постели, и на лице его приветливость сочеталась с законным недоумением. В таких условиях произошло наше первое с ним свидание и первый разговор. И Владимир Ильич и Надежда Константиновна знали уже обо мне из письма Клэра (Г. М. Кржижановский), который в Самаре, так сказать, официально ввел меня в организацию „Искры" под прозвищем „Перо". Так я и был встречен: приехало, мол, „Перо"... Меня напоили чаем, кажется в кухне-столовой. Ленин тем временем оделся. Я рассказывал о побеге и жаловался на плохое состояние искровской границы: она оказалась в руках гимназиста-эсера, который к искровцам, ввиду разгоревшейся жестокой полемики, относился без большой симпатии; к тому же контрабандисты жестоко обобрали меня, превысив всякие тарифы и нормы. Надежде Константиновне я передал скромный багаж адресов и явок, вернее сведения о необходимости ликвидации некоторых негодных адресов. По поручению самарской группы (Клэр и др.) я посетил Харьков, Полтаву, Киев и почти везде, во всяком случае, в Харькове и Полтаве, мог установить крайне слабое состояние организационных связей.

Не помню, в то же ли утро или на другой день я совершил с Владимиром Ильичем большую прогулку по Лондону. Он показывал мне Вестминстер (снаружи) и еще какие-то примечательные здания. Не помню, как он сказал, но оттенок был такой: это у них знаменитый Вестминстер. „У них", означало, конечно, не у англичан, а у врагов. Этот оттенок,

нисколько не подчеркнутый, глубоко органический, выражающийся больше в тембре голоса, был у Ленина всегда, когда он говорил о каких-либо ценностях культуры или новых достижениях, об устройстве Британского музея, о богатстве информации „Times'а", или много лет позже — о немецкой артиллерии или французской авиации: умеют или имеют, сделали или достигли, — но какие враги! Незримая тень эксплоататорского класса как бы ложилась в его глазах на всю человеческую культуру, и эту тень он ощущал всегда с такой же несомненностью, как дневной свет. Насколько могу припомнить, я проявил в тот раз к лондонской архитектуре минимальное внимание. Переброшенный сразу из Верхоленска за границу, где я вообще был в первый раз, я воспринимал Вену, Париж и Лондон лишь очень суммарно, и мне было еще не до „деталей", вроде Вестминстерского замка. Да и Владимир Ильич не за тем, разумеется, вызвал меня на эту большую прогулку. Цель его была в том, чтобы познакомиться и проэкзаменовать. И экзамен был действительно „по всему курсу". На вопросы его я рассказывал о составе Ленской ссылки и о внутренних в ней группировках. Главной линией водораздела было тогда отношение к активной политической борьбе, к централистической организации и к террору.

— Ну, а теоретических разногласий, в связи с бернштейнианством, не было? — спросил В. И. Я рассказал, как мы читали книгу Бернштейна и ответ Каутского в Московской тюрьме и затем в ссылке. Никто из марксистов в нашей среде не поднимал голоса за Бернштейна. Считалось как бы само собой разумеющимся, что Каутский прав. Но связи между теоретической борьбой, развертывавшейся тогда в между-

народном масштабе, и нашими организационно-политическими спорами мы не проводили никакой и даже над ней не задумывались, по крайней мере до появления на Лене первых номеров „Искры“ и книжки Ленина „Что делать?“. Рассказывал еще я, что мы с большим интересом читали первые философские книжки Богданова. Помню очень твердо смысл замечания В. И.: и ему книжка об историческом взгляде на природу показалась очень ценной, но, вот, Плеханов не одобряет, говорит, что это не материализм. В. И. тогда на этот вопрос своего взгляда еще не имел, и только передавал взгляд Плеханова, с уважением к его философскому авторитету, но и с недоумением. Меня плехановская оценка тогда также очень удивила. Спрашивал В. И. и об экономике. Я рассказал, как мы в Московской пересыльной коллективно штудировали его книгу „Развитие капитализма в России“, а в ссылке работали над „Капиталом“, но остановились на втором томе. Я упомянул об огромном количестве статистических данных, разработанных в „Развитии капитализма“.

— Мы в Московской пересылке не раз с удивлением говорили об этой колоссальной работе.

— Как, ведь это же делалось не сразу, — ответил Ленин.

Ему, видимо, было приятно, что молодые товарищи с вниманием относились к его важнейшей экономической работе.

Заговорили о махаевщине, о том, какое произвела она впечатление на ссылку, многие ли поддались. Я рассказал, что первая гектографированная тетрадь Махайского, доставленная нам „сверху“ по Лене, произвела на большинство из нас сильное впечатление резкой

критикой социал-демократического оппортунизма и в этом смысле совпадала с тем ходом наших мыслей, который вызывался полемикой между Каутским и Бернштейном. Вторая тетрадь, где Махайский „срывает маску" с марксовых формул воспроизводства, усматривая в них теоретическое оправдание эксплоатации пролетариата интеллигенцией, вызвала в нас теоретическое возмущение. Наконец, полученная нами позже третья тетрадь, с положительной программой, в которой пережитки экономизма сочетались с зародышами синдикализма, произвела впечатление полной несостоятельности.

Насчет моей дальнейшей работы разговор был в этот раз, разумеется, лишь самым общим. Я хотел, прежде всего, ознакомиться с вышедшей литературой, а затем предполагал нелегально вернуться в Россию. Решено было, что я должен сперва „осмотреться".

Для жительства я был отведен Надеждой Константиновной за несколько кварталов, в дом, где проживали Засулич, Мартов и Блюменфельд, заведывавший типографией „Искры". Там нашлась свободная комната и для меня. Квартира эта, по обычному английскому типу, располагалась не горизонтально, а вертикально: в нижней комнате жила хозяйка, а затем друг над другом жильцы. Была еще одна свободная общая комната, которую Плеханов окрестил после своего первого посещения вертепом. В комнате этой, не без вины Веры Ивановны Засулич, но и не без содействия Мартова, царил большой беспорядок. Тут пили кофе, сходились для разговоров, курили и пр. Отсюда и название.

Так начался короткий лондонский период моей жизни. Я принялся с жадностью поглощать вышед-

шие номера „Искры“ и книжки „Зари“. К этому же времени относится начало моего сотрудничества в „Искре“.

К 200-летнему юбилею Шлиссельбургской крепости я написал заметку, кажется, первую мою работу для „Искры“. Кончалась заметка гомеровскими словами, или, вернее, словами гомеровского переводчика Гнедича насчет „необорных рук“, которые революция наложит на царизм (по дороге из Сибири я начитался в вагоне „Илиады“). Ленину заметка понравилась. Но насчет „необорных рук“ он впал в законное сомнение и выразил мне его с добродушной усмешкой. „Да это гомеровский стих“, оправдывался я, но охотно согласился, что классическая цитата необязательна. Заметку можно найти в „Искре“, но без „необорных рук“.

Тогда же я выступил с первыми докладами в Уайт-Чепеле, где сразился со „стариком“ Чайковским (он и тогда уже был стариком) и с анархистом Черкезовым, тоже немолодым. В результате я был искренне удивлен тем, что именитые седобородые эмигранты способны нести такую явную околесицу... Связью с Уайт-Чепелем служил лондонский „старожил“ Алексеев, марксист-эмигрант, близкий к редакции „Искры“. Он посвящал меня в английскую жизнь и вообще был для меня источником всякого познания. Помню, как я, после обстоятельного разговора с Алексеевым по пути в Уайт-Чепел и обратно, передал Владимиру Ильичу два мнения Алексеева насчет смены государственного режима в России и насчет последней книжки Каутского. У нас смена произойдет не постепенно, — говорил Алексеев,— а крайне резко, ввиду рижидности самодержавия. Слово рижидность (жесткость, твердость,

несгибаемость) я твердо запомнил. „Что ж, это он, пожалуй, прав“,—сказал Ленин, выслушав рассказ. Второе суждение Алексеева касалось книжки Каутского: „На второй день после социальной революции“. Я знал, что Ленин книжкой очень интересуется, что он, по его собственным словам, читал ее дважды и читает в третий раз; кажется, им же был проредактирован русский перевод. Я только что прилежно проштудировал книжку по рекомендации Владимира Ильича. Между тем, Алексеев находил книжку Каутского оппортунистической. „Ду-рак“, — неожиданно сказал Ленин и сердито надул губы, что с ним бывало в случае недовольства. Сам Алексеев относился к Ленину с величайшим уважением: „Я считаю, что он для революции важнее Плеханова“. Ленину я об этом, конечно, не говорил, но Мартову сказал. Тот ничего не ответил.

Редакция „Искры“ и „Зари“ состояла, как известно, из шести лиц: трех „стариков“, Плеханова, Засулич и Аксельрода, и трех молодых, Ленина, Мартова и Потресова. Плеханов и Аксельрод проживали в Швейцарии. Засулич—в Лондоне, с молодыми. Потресов в это время находился где-то на континенте. Такая разбросанность представляла технические неудобства, но Ленин нисколько не тяготился ими, даже наоборот. Перед моей поездкой на континент он, посвящая меня осторожно во внутренние дела редакции, говорил о том, что Плеханов настаивает на переводе всей редакции в Швейцарию, но что он, Ленин, против перевода, так как это затруднит работу. Тут впервые я понял, но лишь чуть-чуть, что пребывание редакции в Лондоне вызывается соображениями не только полицейского характера, но и организационно-персональными. Ленин хотел в текущей организационно-поли-

тической работе максимальной независимости от стариков и, прежде всего, от Плеханова, с которым у него уже были острые конфликты, особенно при выработке проекта программы партии. Посредниками в таких случаях выступали Засулич и Мартов: Засулич — в качестве секунданта от Плеханова, и Мартов—в таком же качестве от Ленина. Оба посредника были очень примирительно настроены и, кроме того, очень дружны между собою. Об острых столкновениях между Лениным и Плехановым по вопросу о теоретической части программы я узнавал лишь постепенно. Помню, Владимир Ильич спрашивал меня, как я нахожу программу, тогда только что опубликованную (кажется, в № 25 „Искры“). Я, однако, воспринял программу слишком оптовым порядком, чтобы ответить на тот внутренний вопрос, который интересовал Ленина. Разногласия шли по линии большей жесткости и категоричности в характеристике основных тенденций капитализма, концентрации производства, распада промежуточных слоев, классовой дифференциации и пр.— на стороне Ленина, и большей условности и осторожности в этих вопросах—на стороне Плеханова. Программа, как известно, изобилует словами „более или менее“: это от Плеханова. Насколько вспоминаю, по рассказам Мартова и Засулич, первоначальный набросок Ленина, противопоставленный наброску Плеханова, встретил со стороны последнего очень резкую оценку в высокомерно-насмешливом тоне, столь отличавшем в таких случаях Георгия Валентиновича. Но Ленина этим нельзя было, конечно, ни обескуражить, ни испугать. Борьба приняла очень драматический характер. Вера Ивановна, по ее собственному рассказу, говорила Ленину: „Жорж (Плеханов) — борзая:

потреплет, потреплет и бросит, а вы—бульдог: у вас мертвая хватка". Очень хорошо помню эту фразу, как и заключительное замечание Засулич: „Ему (Ленину) это очень понравилось.—Мертвая хватка?—переспросил он с удовольствием". И Вера Ивановна добродушно передразнивала интонацию вопроса.

При мне в Лондон приезжал на короткое время Плеханов. Тогда-то я и увидел его впервые. Он приходил на нашу общую квартиру, был в вертепе, но меня не было дома.

— Приехал Жорж,—сказала мне Вера Ивановна,—хочет вас видеть, зайдите к нему.

— Какой Жорж?—спросил я с недоумением, решив, что есть еще одно крупное имя, мне неизвестное.

— Ну, Плеханов... Мы его Жоржем зовем.

Вечером я зашел к нему. В маленькой комнатке, кроме Плеханова, сидели довольно известный немецкий писатель социал-демократ Бер и англичанин Аскью. Не зная, куда меня девать, так как стульев больше не было, Плеханов—не без колебания—предложил мне сесть на кровать. Я считал это в порядке вещей, не догадываясь, что европеец до конца ногтей Плеханов мог только ввиду крайности обстоятельств решиться на такую чрезвычайную меру. Разговор шел на немецком языке, которым Плеханов владел недостаточно и потому ограничивался односложными замечаниями. Бер говорил сперва о том, как английская буржуазия умело обхаживает выдающихся рабочих, а затем разговор перешел на английских предшественников французского материализма. Бер и Аскью вскоре ушли. Георгий Валентинович вполне основательно ожидал, что уйду с ними и я, так как час

был поздний, и нельзя было беспокоить хозяев квартиры разговором. Я же, наоборот, считал, что теперь-то только настоящее и начинается.

— Очень интересные вещи говорил Бер,—сказал я.

— Да, насчет английской политики интересно, а насчет философии—пустяки,—ответил Плеханов.

Видя, что я не собираюсь уходить, Георгий Валентинович предложил мне выпить по соседству пива. Он задал мне несколько беглых вопросов, был любезен, но в этой любезности был оттенок скрытого нетерпения. Я чувствовал, что внимание его рассеяно. Возможно, что он просто устал за день. Но я ушел с чувством неудовлетворенности и огорченья.

В лондонский период, как и позже, в женевский, я гораздо чаще встречался с Засулич и с Мартовым, чем с Лениным. Живя в Лондоне на одной квартире, а в Женеве—обедая и ужиная обычно в одних и тех же ресторанчиках, мы с Мартовым и Засулич встречались несколько раз в день, тогда как с Лениным, который жил семейным порядком, каждая встреча вне официальных заседаний была уже как бы маленьким событием.

Засулич была человеком особенным и по-особенному очаровательным. Писала она очень медленно, переживая подлинные муки творчества.—„У Веры Ивановны ведь не писание, а мозаика“,—сказал мне как-то в ту пору Владимир Ильич. И действительно, она наносила на бумагу по отдельной фразе, много ходила по комнате, шаркая и притаптывая своими туфлями, без конца дымила свернутыми от руки папиросами, нашвыривала во всех углах, на всех окнах и столах окурки и просто недокуренные папиросы, осыпала пеплом свою кофту, руки, рукописи, чай в

стакане, а при случае и собеседника. Была она и осталась до конца старой интеллигенткой-радикалкой, которую судьба подвергла марксистской прививке. Статьи Засулич свидетельствуют, что теоретические элементы марксизма она усвоила превосходно. Но в то же время нравственно-политическая основа русской радикалки 70-х годов осталась в ней неразложенной до конца. В интимных беседах она позволяла себе будировать против известных приемов или выводов марксизма. Понятие „революционер“ имело для нее самостоятельное значение, и независимое от классового содержания. Помню свой разговор с ней по поводу ее „Революционеров из буржуазной среды“. Я употребил выражение буржуазно-демократические революционеры. — „Да нет, — с оттенком досады или, вернее, огорчения отозвалась Вера Ивановна: — не буржуазные и не пролетарские, а просто революционеры. Можно, конечно, сказать мелко-буржуазные революционеры, — прибавила она, — если причислять к мелкой буржуазии все то, что некуда девать“...

Идейным средоточием социал-демократии была тогда Германия, и мы напряженно следили за борьбой ортодоксов с ревизионистами в немецкой социал-демократии. А Вера Ивановна нет-нет, да и скажет:

— Все это так. Они и с ревизионизмом покончат, и Маркса восстановят, и станут большинством, а все-таки будут жить с кайзером.

— Кто „они“, Вера Ивановна?

— Да немецкие социал-демократы.

На этот счет, впрочем, Вера Ивановна не так ошибалась, как казалось тогда, хотя все произошло по-иному и по иным причинам, чем она думала...

К программе земельных отрезков Засулич относилась скептически,—не то что отвергала, а добродушно посмеивалась. Помню такой эпизод. Незадолго до съезда приезжал в Женеву Константин Константинович Бауэр, один из старых марксистов, но крайне неуравновешенный человек, друживший одно время со Струве, а в этот период колебавшийся между „Искрой“ и „Освобождением“. В Женеве он стал склоняться к „Искре“, но отказывался принять отрезки. Ходил он к Ленину, с которым, возможно, был знаком и ранее. Вернулся от него, однако, не убежденным, вероятнее всего потому, что Владимир Ильич, зная его гамлетическую природу, не давал себе труда убеждать его. У меня с Бауэром, которого я знал по ссылке, был длиннейший разговор о злополучных отрезках. В поте лица я развернул перед ним все те доводы, которые успел накопить за полгода бесконечной при с эсерами и всеми вообще супостатами „искровской“ аграрной программы. И вот, вечером того же дня Мартов (помнится, он) сообщил на заседании редакции, при мне, что приходил к нему Бауэр и заявился окончательно „искровцем“: Троцкий, мол, рассеял все его сомнения...

— И насчет отрезков убедился?—спросила почти с испугом Засулич.

— Насчет отрезков особенно.

— Бе-е-едный,—произнесла Вера Ивановна с такой неподражаемой интонацией, что мы все дружно расхохотались.

„У Веры Ивановны многое построено на морали, на чувстве“, говорил мне как-то Ленин и рассказал, как она с Мартовым склонились-было к индивидуальному террору, когда виленский губернатор Валь применил розги к демонстрантам-рабочим. Следы этого

временного „уклона“, как сказали бы мы теперь, можно найти в одном из номеров „Искры“. Дело было, кажется, так. Мартов и Засулич выпускали номер без Ленина, который находился на континенте. Получилось агентское телеграфное сообщение о виленских розгах. В Вере Ивановне проснулась героическая радикалка, стрелявшая в Трепова за порку политических. Мартов поддержал... Получив свежий номер „Искры“, Ленин возмутился: „Первый шаг к капитуляции перед эсеровщиной“. Одновременно получилось протестующее письмо и от Плеханова. Этот эпизод разыгрался тоже до моего приезда в Лондон, и потому в фактической стороне могут быть какие-либо неточности, но существо инцидента помню хорошо. „Конечно,—объяснялась в разговоре со мною Вера Ивановна,—тут дело совсем же не в терроре, как в системе; а, думается, что от порок террором отучить можно“...

Спорить по-настоящему Засулич не спорила, публично выступать тем более не умела. На доводы собеседника она прямо никогда не отвечала, а что-то там внутри у себя прорабатывала и затем, зажегшись, выбрасывала из себя быстро и захлебываясь ряд фраз, при чем обращалась она не к тому, кто ей возражал, а к тому, кто, как она надеялась, способен ее понять. Если прения были оформленными, с председателем, то Вера Ивановна никогда не записывалась, так как ей, чтобы сказать что-нибудь, нужно было вспыхнуть. Но уж и в этом случае она говорила, совершенно не считаясь с так называемой записью ораторов, к которой относилась с полнейшим презрением, и всегда перебивала и оратора, и председателя и договаривала до конца то, что хотела сказать. Для того, чтобы понять ее, нужно было хорошенько вдуматься в ход ее



мыслей. А мысли ее—были ли они верны или были ошибочны—всегда были интересны и принадлежали только ей. Не трудно себе представить, какую противоположность Вера Ивановна, со своим расплывчатым радикализмом и своим субъективизмом, со своей неряшливостью представляла по отношению к Владимиру Ильичу. Между ними не то что не было симпатии, а было чувство глубокого органического несходства. Но силу Ленина Засулич, как тонкий психолог, чувствовала, не без некоторого оттенка неприязни, уже в ту пору; это она и выразила в своей фразе о мертвой хватке.

Сложные отношения, существовавшие между членами редакции, становились мне доступны лишь постепенно и не без труда. Приехал я в Лондон, как уже сказано, большим провинциалом, и притом во всех смыслах. Не только за границей, но и в Петербурге я до того никогда не бывал. В Москве, как и в Киеве, жил только в пересыльной тюрьме. Литераторов-марксистов знал только по статьям. В Сибири прочитал несколько номеров „Искры“ и „Что делать?“ Ленина. Об Ильине, авторе „Развития капитализма“, я смутно слышал в Московской пересыльной (кажется, от Вановского), как о восходящей социал-демократической звезде. О Мартове знал мало, о Потресове—ничего. В Лондоне, штудируя с остервенением „Искру“, „Зарю“ и вообще заграничные издания, я натолкнулся в одном из номеров „Зари“ на направленную против Прокоповича блестящую статью о роли и значении профессиональных союзов. — Кто этот Молотов?—спрашивал я Мартова.—Это Парвус.—Но я ничего не знал о Парвусе. Я брал „Искру“ как целое, и мне в те месяцы была чужда и даже как бы внутренне вра-

ждебна мысль искать в ней или в ее редакции различные тенденции, оттенки, влияния и пр.

Помню, я обратил внимание на то, что некоторые передовые статьи и фельетоны в „Искре“, хотя и не подписаны, но ведутся от местоимения „я“: „в таком-то номере я сказал“, „я уже об этом тогда-то писал“ и пр. Я справился, чьи это статьи. Оказалось, все Ленина. В разговоре с ним я заметил, что есть, по-моему, литературное неудобство в неподписанных статьях говорить от местоимения „я“.

— Почему неудобно?—спросил он с интересом, предполагая, может быть, что я выражаю тут не случайное и не свое лишь личное мнение.

— Да так как-то,—ответил я неопределенно, ибо никаких определенных мыслей на этот счет у меня и не было.

— Я этого не нахожу,—сказал Ленин и как-то загадочно засмеялся. Тогда в этом литературном приеме мог почудиться душок „эгоцентризма“. На самом деле выделение своих статей, хотя бы и неподписанных, было страховкой своей линии, как результат неуверенности насчет линии ближайших сотрудников. Тут перед нами в малом виде та настойчивая, упорная, попирающая все условности, ни перед чем формальным не останавливающаяся целеустремленность, которая составляет основную черту Ленина-вождя.

Политическим руководителем „Искры“ был Ленин, но главной публицистической силой был Мартов. Он писал легко, и без конца—так же, как и говорил. Ленин же проводил много времени в библиотеке Британского музея, где занимался теоретически.

Помню, как Ленин писал в библиотечном зале статью против Надеждина, который имел тогда в

Швейцарии собственное свое небольшое издательство, где-то между социал-демократами и социалистами-революционерами. Между тем, Мартов успел уже накануне ночью (он вообще работал преимущественно по ночам) написать большую статью о Надеждине и передать ее Ленину.

— Вы читали статью Юлия?—спросил меня Владимир Ильич в музее.

— Читал.

— Как находите?

— Кажется, хорошо.

— Хорошо-то хорошо, да недостаточно определенно. Выводов нет. Я вот тут набросал кое-что, да не знаю теперь как быть: пустить разве дополнительным примечанием к статье Юлия?

Он передал мне четвертушку бумаги, исписанную карандашом. В ближайшем номере „Искры“ статья Мартова появилась с подстрочным примечанием Ленина. И статья и примечание без подписи. Не знаю, вошло ли это примечание в Собрание сочинений Ленина. Что оно написано им, за это ручаюсь.

Несколькими месяцами позже, уже в предсъездовские недели, в редакции эпизодически вспыхнуло разногласие между Лениным и Мартовым по вопросу о тактике в связи с уличными демонстрациями, точнее говоря, о вооруженной борьбе с полицией. Ленин говорил: нужно создавать небольшие вооруженные группы, нужно приучать рабочих-боевиков драться с полицией. Мартов был против. Спор перенесли в редакцию.—А не вырастет ли из этого нечто вроде группового террора?—сказал я по поводу предложения Ленина. (Напоминаю, что в тот период борьба с террористической тактикой эсеров играла большую роль в

нашей работе). Мартов подхватил это соображение и стал развивать ту мысль, что нужно учиться защищать массовые демонстрации от полиции, а не создавать отдельные группы для борьбы с ней. Плеханов, на которого я, да и другие, вероятно, смотрели с ожиданием, уклонился от ответа и предложил Мартову набросать проект резолюции, чтобы обсуждать спорный вопрос уже с текстом в руках. Эпизод этот потонул, однако, в событиях, связанных со съездом.

Ленина и Мартова не на собраниях и совещаниях, а в частной беседе, мне довелось наблюдать очень мало. Длинных споров, бесформенных бесед, превращавшихся сплошь да рядом в эмигрантское калякание и судачение, к чему Мартов был так склонен, Ленин не любил и тогда. Этот величайший машинист революции не только в политике, но и в теоретических своих работах, и в занятиях философией, и в изучении иностранных языков, и в беседах с людьми был неизменно одержим одной и той же идеей — целью. Это был самый, может быть, напряженный утилитарист, какого когда-либо выпускала лаборатория истории. Но так как его утилитаризм—широчайшего исторического захвата, то личность от этого не сплющивалась, не оскудевала, а, наоборот, по мере роста жизненного опыта и сферы действия, непрерывно развивалась и обогащалась... Бок-о-бок с Лениным Мартову, ближайшему его тогда соратнику, было уже не по себе. Они были еще на „ты“, но в отношениях уже явственно пробивался холодок. Мартов гораздо больше жил сегодняшним днем, его злобой, текущей литературной работой, публицистикой, полемикой, новостями и разговорами. Ленин, подминая под себя сегодняшний день, врезывался мыслью в завтрашний. У Мартова

были бесчисленные и нередко блестящие догадки, гипотезы, предложения, о которых он часто сам вскоре позабывал, а Ленин брал то, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно. Ажурная хрупкость мартовских мыслей заставляла Ленина не раз тревожно покачивать головой. Какие-либо различные политические линии тогда не успели еще не только определиться, но и обнаружиться; лишь задним числом их можно прощупать. Позже, при расколе на 2-м съезде искровцы разделились на твердых и мягких. Это название, как известно, было в первое время в большом ходу, свидетельствуя, что если еще не было отчетливой линии водораздела, то была разница в подходе, в решимости, в готовности итти до конца. Возвращаясь к отношениям Ленина и Мартова, можно сказать, что и до раскола, и до съезда Ленин был „твердый", а Мартов—„мягкий". И оба это знали. Ленин критически и чуть подозрительно поглядывал на Мартова, которого очень ценил, а Мартов, чувствуя этот взгляд, тяготился и нервно поводил худым плечом. Когда они разговаривали друг с другом при встрече, не было уже ни дружеских интонаций, ни шуток, по крайней мере, на моих глазах. Ленин говорил, глядя мимо Мартова, а у Мартова глаза стеклянели под отвисавшим и никогда не протиравшимся пенснэ. И когда Владимир Ильич со мною говорил о Мартове, то в его интонации был особый оттенок: „Это что ж, Юлий сказал?", при чем имя Юлия произносилось по-особому, с легким подчеркиванием, как бы с предостережением: „хорош-то хорош, мол, даже замечателен, да очень уж мягок". А на Мартова влияла, несомненно, и Вера Ивановна, не политически, а психологически отгораживая его от Ленина. Раз-

умеется, все это больше обобщенная психологическая характеристика, чем фактический материал, и притом характеристика, даваемая 22 года спустя. За это время многое легло на память, и в изображении невесомейших моментов из области личных отношений могут быть и неправильности и нарушения перспективы. Чтó тут воспоминание и чтó невольная реконструкция задним числом? Но думается мне, что в основном все же память восстанавливает то, что было, и так, как было.

После моих „пробных“, так сказать, выступлений в Уайт-Чепеле (Алексеев давал о них „отчет“ членам редакции) меня отправили с рефератом на континент— в Брюссель, Льеж, Париж. Реферат у меня был на тему: „Что такое исторический материализм, и как его понимают социалисты-революционеры“. Владимир Ильич очень заинтересовался темой. Я давал ему на просмотр подробный конспект с цитатами и пр. Он советовал обработать реферат в виде статьи для ближайшей книжки „Зари“, но я не отваживался.

Из Парижа меня вскоре вызвали телеграммой в Лондон. Дело шло об отправке меня нелегально в Россию, по мысли Владимира Ильича: оттуда жаловались на провалы, на недостаток людей, и, кажется, Клэр требовал моего возвращения. Но не успел я доехать до Лондона, как план уже был изменен. Л. Г. Дейч, который проживал тогда в Лондоне и очень хорошо ко мне относился, рассказывал мне впоследствии, как он „вступился“ за меня, доказывая, что „юноше“ (иначе он меня не называл) нужно пожить за границей и поучиться, и как Ленин, после некоторого спора согласился с этим. Очень заманчиво было работать в русской организации „Искры“, но я тем не менее охотно остался еще на некоторое время за границей.

В одно из воскресений я отправился с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной в социалистическую лондонскую церковь, где социал-демократический митинг чередовался с пением революционно-благочестивых псалмов. Оратором выступал наборщик, вернувшийся на родину, кажется, из Австралии. Владимир Ильич переводил нам шопотом его речь, которая звучала довольно революционно, по крайней мере, по тому времени. Затем все поднимались и пели: „Всесильный боже, сделай так, чтобы не было ни королей, ни богачей"... или что-то в этом роде. „В английском пролетариате рассеяно множество элементов революционности и социализма, — говорил по этому поводу Владимир Ильич, когда мы вышли из церкви, — но все это сочетается с консерватизмом, религией, предрассудками и никак не может пробиться наружу и обобщиться"... Здесь не безынтересно отметить, что Засулич и Мартов жили совершенно в стороне от английского рабочего движения, целиком поглощенные „Искрой" и тем, что ее окружало. Ленин же совершал время от времени самостоятельные разведки в область английского рабочего движения.

Незачем говорить, что жили Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и ее матерью более, чем скромно. Вернувшись из социал-демократической церкви, мы обедали в маленькой кухне-столовой при квартире из двух комнат. Помню как сейчас поданные на кострюльке ломтики зажаренного мяса. Пили чай. Шутили, как всегда, по поводу того, попаду ли я один к себе домой: я очень плохо разбирался в улицах и, из склонности к систематизации, называл это свое качество „топографическим кретинизмом".

Срок, назначенный для съезда, приближался, и было,

в конце концов, решено перенести искровский центр в Швейцарию, в Женеву: там жизнь обходилась несравненно дешевле, и связь с Россией была легче. Ленин, скрепя сердце, согласился на это. Меня направили в Париж с тем, чтобы оттуда я прибыл вместе с Мартовым в Женеву. Началась усиленная подготовка к съезду.

Через некоторое время в Париж прибыл и Ленин. Он должен был прочитать три лекции по аграрному вопросу в так называемой Высшей Школе, организованной в Париже изгнанными из русских университетов профессорами. На приглашении Ленина настояла марксистская часть студенчества после того, как в Школе выступал Чернов. Профессора беспокоились и просили колючего лектора по возможности не вдаваться в полемику. Но Ленин ничем не связал себя на этот счет и первую свою лекцию начал с того, что марксизм есть теория революционная, следовательно, полемическая по самому своему существу, но что эта его полемичность ни в каком случае не противоречит его научности. Помню, что перед первой лекцией Владимир Ильич очень волновался. Но на трибуне он сразу овладел собою, по крайней мере, внешним образом. Профессор Гамбаров, пришедший его послушать, формулировал Дейчу свое впечатление так: „Настоящий профессор!“. Любезный человек думал таким образом выразить наивысшую похвалу. Будучи насквозь полемическими — против народников и аграрного социал-реформиста Давида, которых Ленин сопоставлял и сближал, — лекции оставались все же в рамках экономической теории, не затрагивая текущей политической борьбы, аграрной программы социал-демократии, социал-революционеров и пр. Такого рода ограничение лектор на себя наложил, считаясь

с академическим характером кафедры. Но по окончании третьей лекции Ленин сделал политический доклад по аграрному вопросу, кажется, на rue Choisy, 110, организованный уже не Высшей Школой, а парижской группой „Искры". Зал был битком набит. Все студенчество Высшей Школы явилось, чтобы послушать практические выводы из теоретических лекций. Речь шла о тогдашней искровской аграрной программе и, в частности, о возвращении земельных отрезков. Не помню, кто возражал. Но помню, что в заключительном слове Владимир Ильич был великолепен. Один из парижских искровцев сказал мне при выходе: „Ленин сегодня превзошел себя". После доклада, как полагается, искровцы отправились с лектором в кафэ. Все были очень довольны, а сам лектор весело возбужден. Казначей группы с удовлетворением сообщал цифру дохода, полученного от доклада кассой „Искры": что-нибудь, вероятно, между 75 и 100 франками, сумма не шуточная! Происходило все это в начале 1903 г. Более точно сейчас время определить не могу, но думаю, что это не трудно сделать, а, может быть, уже и сделано.

В тот же приезд Ленина решено было показать ему оперу. Устроить это было поручено Н. И. Седовой, члену искровской группы. Владимир Ильич шел в театр (Opéra Comique) и из театра с тем же самым портфелем, который сопровождал его на лекции в Высшей Школе. Шла опера Масснэ (?) „Луиза", очень демократическая по сюжету. Сидели мы группой на галлерее. Кроме Ленина, Седовой и меня, был, кажется, и Мартов. Остальных не помню. С этим посещением оперы связано маленькое, совершенно немузыкальное обстоятельство, которое, однако, крепко запомнилось. Ленин купил себе в Париже ботинки.

Они оказались ему тесны. Он промучился в них несколько часов и решил от них освободиться. Как на грех, и моя обувь настойчиво требовала смены. Я получил эти ботинки, и на первых порах мне на радостях показалось, что они мне в самый раз. Я решил их обновить, отправляясь в оперу. Дорога т у д а прошла благополучно. Но уже в театре я почувствовал, что дело неладно. Может, это и есть причина, почему я не помню, какое впечатление произвела опера на Ленина, да и на меня самого. Помню только, что он был очень расположен, шутил и смеялся. На обратном пути я уже жестоко страдал, а Владимир Ильич безжалостно подшучивал надо мною всю дорогу. Под его шутками скрывалось, однако, компетентное сочувствие: он сам, как сказано, промучился в этих ботинках несколько часов.

Я упомянул выше о волнении Владимира Ильича перед парижскими лекциями. На этом следует остановиться. Такого рода волнения при выступлениях были у Ленина и значительно позже тем сильнее, чем менее „своя" была аудитория, чем формальнее был повод для речи. Внешним образом Ленин всегда говорил уверенно, напористо и быстро, так что речи его являлись жестоким испытанием для стенографов. Но когда ему было не по себе, то голос его звучал каким-то не своим, а отраженным и обезличенным звуком, похожим на эхо. Когда же Ленин чувствовал, что э т о й именно аудитории крепко нужно именно то, что он имеет сказать, голос его приобретал чрезвычайную живость и гибкую убедительность, не „ораторскую" в собственном смысле, а разговорную, только доведенную до масштабов трибуны. Это было не ораторское искусство, но нечто бо́льшее, чем ораторство. Можно,

правда, возразить, что всякий оратор лучше говорит в „своей" аудитории. В такой общей форме это, конечно, верно. Но весь вопрос в том, какую аудиторию и в каких условиях оратор чувствует, как свою. Европейские ораторы типа Вандервельде, воспитанные на парламентских образцах, нуждаются именно в торжественной обстановке и в формальных поводах для пафоса. На юбилейных собраниях и чествованиях они как раз в своей тарелке. А для Ленина каждое такое собрание было маленьким личным несчастьем. Ярче и убедительнее всего он бывал при разборе боевых вопросов политики. Может быть, лучшими образцами его устной речи были его выступления в Центральном Комитете перед Октябрем.

До парижских докладов я слышал Ленина, кажется, только раз в Лондоне, в самом конце декабря 1902 г. Странное дело, у меня не осталось никакого воспоминания ни о характере выступления, ни о теме его. Я почти готов был бы усомниться, точно ли это был его доклад? Но, повидимому, так: большое для Лондона русское собрание, где присутствовал Ленин; если бы не его доклад, вряд ли он явился бы. Провал памяти объясняю так: доклад был, вероятно, посвящен, как это обычно бывало, той же теме, что и печатавшийся очередной номер „Искры"; соответственную статью Ленина я уже успел, следовательно, прочесть и потому в докладе для меня не было ничего нового; прений не было: слабые лондонские противники не решались выступать против Ленина; аудитория, отчасти бундистская, отчасти анархистская, была не очень благодарной,—и в результате всего этого доклад прошел бледно. Помню только, что к концу собрания подходили ко мне Б., муж и жена, из бывшей петер-

бургской группы „Рабочей Мысли“, жившие уже довольно долго в Лондоне, и приглашали: „Приходите к нам под новый год“ (поэтому-то я и помню, что собрание было в конце декабря).—Зачем?—спросил я с варварским недоумением.—„Проведем время в товарищеском кругу. Ульянов будет, Крупская“. Помню, что сказали Ульянов, а не Ленин, и я даже не сразу сообразил, о ком идет речь. Приглашенными оказались и Засулич и Мартов. На другой день в „вертепе“ происходило обсуждение, как быть: справлялись у Ленина, пойдет ли он. Кажется, никто не пошел. А жаль: это был бы единственный в своем роде случай посмотреть Ленина с Засулич и Мартовым в обстановке новогодней вечеринки.

По приезде из Парижа в Женеву я был приглашен к Плеханову с Засулич и с Мартовым; кажется, был и Владимир Ильич. Но об этом вечере у меня—крайне смутное воспоминание. Во всяком случае, он имел не политический, а „светский“, чтобы не сказать, обывательский характер. Помню, что я довольно беспомощно и уныло сидел на стуле и в промежутках между знаками внимания со стороны хозяина или хозяйки убежденно не знал, что̀ с собою делать. Дочери Плеханова разносили чай и печение. Во всем была какая-то натянутость, и от нее не мне одному, вероятно, было не по себе. Разве что по молодости лет я ощущал холодок острее других. Это посещение было первым и последним. Разумеется, мои впечатления от этого „визита“ были очень беглыми и, весьма возможно, чисто случайными, как беглыми и случайными были все мои встречи с Плехановым. Блестящую фигуру марксистского первоучителя в России я пытался кратко охарактеризировать в другом

месте. Здесь я ограничиваюсь только разрозненными впечатлениями первых встреч, в которых мне—увы!—явно не повезло. Засулич, которую все это очень огорчало, говорила мне: „Жорж, я знаю, бывает несносен, но по существу это ужасно милое животное“ (любимая ее похвала).

Не могу тут же не отметить, что в семье Аксельрода господствовала атмосфера простоты и искреннего товарищеского участия. Я и сейчас с благодарностью вспоминаю о часах, которые я провел за гостеприимным столом Аксельродов во время своих нередких наездов в Цюрих. Бывал там не раз и Владимир Ильич, и, насколько знаю из рассказов самой семьи, чувствовал себя в ее среде тепло и хорошо. Мне с ним у Аксельродов встречаться не приходилось.

Что касается Засулич, то простота ее и душевность в отношении к молодым товарищам были поистине вне сравнения. Если нельзя говорить в прямом смысле слова об ее гостеприимстве, то только потому, что она больше нуждалась в нем, чем могла его оказывать. Она жила, одевалась и питалась, как скромнейшая из студенток. В области материальных ценностей ее высшими радостями были: табак и горчица. Она потребляла и то и другое в огромном количестве. Когда она смазывала тончайший ломтик ветчины толстым слоем горчицы, мы говорили: „Вера Ивановна кутит“...

Очень хорошо и внимательно относился к молодежи четвертый член „Группы Освобождение Труда“, Л. Г. Дейч. Я не упоминал до сих пор, что, в качестве администратора „Искры“, он присутствовал с совещательным голосом на заседаниях редакции. Дейч обыкновенно шел с Плехановым, держась в вопросах революционной тактики более, чем умеренных взгля-

дов. Однажды, к величайшему моему изумлению, он заявил мне: „Никакого вооруженного восстания, юноша, не будет и не нужно его. На каторге у нас были петухи, которые по первому поводу лезли в драку и погибали. Я же занимал такую позицию: держаться твердо, давать администрации понять, что дело может дойти до большой драки, но в драку не лез. Этим путем я добивался и уважения со стороны администрации, и смягчения режима. Подобную же тактику нам нужно применять и к царизму, иначе нас разобьют и уничтожат без всякой пользы для дела“.

Я так был поражен этой тактической проповедью, что рассказывал об ней по очереди и Мартову, и Засулич, и Ленину. Не помню, как реагировал Мартов. Вера Ивановна сказала: „Евгений (старое прозвище Дейча) всегда был таким: лично человек исключительно смелый, а политически—крайне осторожный и умеренный“. Ленин, выслушав, сказал что-то вроде: „М-м... да-а“, и оба мы рассмеялись—без дальнейших комментариев.

В Женеву съезжались первые делегаты будущего 2-го съезда, и с ними шли непрерывные совещания. В этой подготовительной работе Ленину принадлежало бесспорное, хотя и не всегда заметное руководство. Шли заседания редакции „Искры“, заседания организации „Искры“, отдельные совещания с делегатами по группам и общие. Часть делегатов приехала с сомнениями, возражениями или с групповыми претензиями. Подготовительная обработка отнимала много времени.

На съезд прибыло всего трое рабочих. Ленин очень подробно беседовал с каждым из них и завоевал всех троих. Одним из них был Шотман из Петербурга. Он был еще очень молод, но осторожен и

вдумчив. Помню, вернулся он после разговора с Лениным (мы с ним жили на одной квартире) и все повторял: „А как у него глазенки светятся, точно насквозь видят“...

Делегатом из Николаева был Калафати. Владимир Ильич меня подробно расспрашивал о нем (я его знал по Николаеву) и затем, лукаво улыбаясь, прибавил:

— Он говорит, что знал вас чем-то вроде толстовца.

— Ну, вот, чепуха какая-то, — почти что возмутился я.

— Да что ж тут такого?—не то успокаивая, не то дразня возражал Ленин, — вам тогда было, кажется, лет 18, а люди, ведь, не рождаются марксистами.

— Так-то так,—отвечал я,—но уж с толстовством я не имел решительно ничего общего.

Большое место в совещаниях уделялось уставу, при чем одним из крайне важных моментов в организационных схемах и спорах были взаимоотношения Ц.О. и Ц.К. Я приехал за границу с той мыслью, что Ц.О. должен „подчиняться“ Ц.К. Таково было настроение большинства „русских“ искровцев, не очень, впрочем, настойчивое и определенное.

— Не выйдет,—возражал мне Владимир Ильич.— Не то соотношение сил. Ну, как они будут нами из России руководить? Не выйдет... Мы—устойчивый центр, и мы будем руководить отсюда.

В одном из проектов говорилось, что Ц.О. обязан помещать статьи членов Ц.К.

— Даже и против Ц.О.?—спрашивал Ленин.

— Конечно.

— К чему это? Ни к чему. Полемика двух членов Ц.О. могла бы еще при известных условиях быть по-

лезной, но полемика „русских“ цекистов против Ц.О. недопустима.

— Так это же получится полная диктатура Ц.О.?— спрашивал я.

— А что же плохого?—возражал Ленин.—Так оно при нынешнем положении и быть должно.

Много в тот период было возни вокруг так называемого права кооптации. На одном из совещаний мы, молодежь, договорились до положительной и отрицательной кооптации. „Да ведь отрицательная кооптация—это по-русски называется „выгнать“,—смеялся на другое утро в разговоре со мною Владимир Ильич.— Это не так просто. Попробуйте-ка произвести — ха-ха-ха!—отрицательную кооптацию в редакции „Искры“!“

Самый острый для Ленина вопрос состоял в том, как организовать в дальнейшем центральный орган, который должен был играть по существу одновременно и роль центрального комитета. Ленин считал невозможным сохранить старую шестерку. Засулич и Аксельрод во всяком спорном вопросе почти неизменно становились на сторону Плеханова, и тогда в лучшем случае получалось трое против трех. Ни та, ни другая тройка не согласилась бы на удаление кого-либо из коллегии. Оставался противоположный путь: расширение коллегии. Ленин хотел меня ввести седьмым с тем, чтобы затем из семерки, как широкой редакции, выделить более узкую редакционную группу, в составе Ленина, Плеханова и Мартова. В этот план Владимир Ильич вводил меня постепенно, ни словом, впрочем, не упоминая о том, что он предложил именно меня седьмым членом редакции, что это предложение принято всеми, кроме Плеханова, в лице которого весь план натолкнулся на решительное со-

противление. Включение седьмого уже само по себе означало в глазах Плеханова майоризацию группы „Освобождение Труда“: четверо „молодых“ против трех „стариков“!

Думаю, что этот план был важнейшей причиной крайне неблагожелательного отношения ко мне Георгия Валентиновича. А тут, как на грех, присоединились еще небольшие открытые столкновения наши на глазах у делегатов. Началось, кажется, из-за популярной газеты. Некоторые делегаты настаивали на необходимости поставить на-ряду с „Искрой“ популярный орган, по возможности в России. Такова была, в частности, мысль группы „Южного Рабочего“. Ленин был решительным противником этого. Соображения у него были разного порядка, но главную роль играло опасение особой группировки, которая может сложиться на почве „популярного“ упрощения идей социал-демократии, прежде чем окрепло, как следует быть, основное ядро партии. Плеханов выступал решительно за создание популярного органа, противопоставляя себя Ленину и явно ища поддержки у делегатов с мест. Я поддерживал Ленина. На одном из совещаний я развивал ту мысль,—правильную или неправильную, сейчас это все равно,—что нам нужен не популярный орган, а ряд пропагандистских брошюр и листовок, которые помогли бы передовым рабочим подняться до уровня „Искры“; что популярный орган оттеснит „Искру“ и смажет политическую физиономию партии, снизив ее до экономизма и эсеровщины. Плеханов возражал. „Почему же смажет? — говорил он. — Разумеется, в популярном органе мы всего сказать не сможем. Мы будем там выдвигать требования, лозунги, а не заниматься вопросами тактики. Мы ска-

жем рабочему, что нужно бороться с капитализмом, но мы не станем, разумеется, теоретизировать о том, как бороться с капитализмом". Я ухватился за эту аргументацию: „Но ведь и „экономисты", и эсеры говорят, что нужно бороться с капитализмом. Расхождение начинается именно с того, как бороться. Если мы в популярном органе на этот вопрос не отвечаем, мы тем самым смазываем различие между нами и эсерами"... Возражение имело очень победоносный вид. Плеханов не нашелся. Ясно, что этот эпизод не улучшил его ко мне отношения. Вскоре произошел второй конфликт, на заседании редакции, которая постановила до решения съездом вопроса о составе редакции привлечь меня на заседание с совещательным голосом. Плеханов категорически против этого возражал. Но Вера Ивановна сказала ему: „А я его приведу". И действительно „привела" меня на заседание. Сам я узнал об этой закулисной стороне дела только значительно позже, а на заседание явился ничего не зная, не ведая. Георгий Валентинович поздоровался со мной с изысканной холодностью, на которую был большой мастер. Как на грех, редакции пришлось в этом же заседании разбирать конфликтный вопрос между Дейчем и упомянутым уже выше Блюменфельдом. Дейч был администратором „Искры". Блюменфельд заведывал типографией. На этой почве возникла борьба компетенций. Блюменфельд жаловался на вмешательство Дейча во внутренние дела типографии. Плеханов, по старой дружбе, поддерживал Дейча и предлагал ограничить Блюменфельда типографской техникой. Я возражал: нельзя заведывать типографией только в области техники, есть еще организаторские и адми-

нистративные задачи, и Блюменфельд должен иметь во всех этих вопросах автономию. Помню ядовитейшее возражение Плеханова: „Хотя т. Троцкий и прав, что на технике вырастают различные надстройки, административные и иные, как учит теория исторического материализма, но...“ и пр. Ленин и Мартов поддержали, однако, осторожно меня и провели соответственное решение. Это переполнило чашу. В обоих этих случаях сочувствие Владимира Ильича было, как мы видели, на моей стороне. Но в то же время он с тревогой следил за тем, как портились мои отношения с Плехановым, что грозило окончательно сорвать намеченный им план реорганизации редакции. На одном из ближайших совещаний со вновь подъехавшими делегатами, Ленин, отведя меня в сторону, говорил мне: „По вопросу о популярном органе пускай уж лучше Плеханову возражает Мартов. Мартов будет смазывать, а вы станете рубить. Пусть уж лучше смазывает“. Эти выражения: рубить и смазывать помню твердо.

После одного из заседаний редакции в кафэ „Ландольт“, возможно, что после того самого заседания, о котором только что шла речь, Засулич особенным, ей в таких случаях свойственным, робко-настойчивым голосом, стала жаловаться, что мы „слишком“ нападаем на либералов. Это было ее самое больное место.

— Вот смотрите, как они стараются, — говорила она, глядя мимо Ленина, но имея в виду прежде всего именно его. — В последнем номере „Освобождения“ Струве ставит нашим либералам в пример Жореса, требует, чтобы русские либералы не порывали с социализмом, ибо иначе им угрожает жалкая судьба немецкого либерализма, а брали бы пример с французских радикалов-социалистов.

Ленин стоял у стола в надвинутой на лоб мягкой соломенной шляпе „под панаму“ (заседание уже кончилось, и он собирался уходить).

— Тем больше их надо бить,—сказал он, весело улыбаясь и как бы дразня Веру Ивановну.

— Вот так так,—воскликнула она с полным отчаянием,—они идут нам навстречу, а мы их бить!

— Вот именно. Струве говорит своим либералам: надо против нашего социализма принимать не грубые немецкие меры, а более тонкие французские, привлекать, задабривать, обманывать, развращать на манер левых французских радикалов, заигрывающих с жоресизмом.

Я, разумеется, передаю эту знаменательную беседу не дословно. Но смысл и дух ее врезались в память в высшей степени отчетливо. У меня под руками нет сейчас материалов для проверки, но проверку сделать нетрудно: нужно просмотреть весенние номера „Освобождения“ за 1903 г. и найти статью Струве, посвященную вопросу об отношении либералов к демократическому социализму вообще и жоресизму в особенности. Об этой статье я помню именно со слов Веры Ивановны в рассказанной только что сцене. Если к числу, обозначенному на соответственном номере „Освобождения“ прибавить срок, нужный для того, чтобы „Освобождению“ добраться до Женевы, попасть в руки Веры Ивановны и быть прочитанным, т.-е. дня три-четыре, то можно довольно точно установить и дату описанного только что спора в кафэ „Ландольт“. Помню, что был весенний (а может быть, уже и ранний летний?) день, солнце весело светило, и весел был картавый смешок Ленина. Помню весь его спокойно-насмешливый, уверенный в себе и „прочный“ вид,—именно прочный, хотя тогда Владимир Ильич был гораздо ху-

дошавее, чем в последний период своей жизни. Вера Ивановна, как всегда, вскидывалась, оборачиваясь то к тому, то к другому. Но никто, кажется, не вмешался в спор, который, впрочем, и длился недолго, во время шапочного разбора.

Возвращались мы с ней вместе. Засулич была удручена, чувствуя, что карта Струве бита. Я не мог доставить ей никакого утешения. Никто из нас, однако, не предчувствовал тогда, в какой мере, в какой превосходной степени бита была карта русского либерализма в этом маленьком диалоге у дверей кафэ „Ландольт".

* * *

Я вижу всю недостаточность сообщаемых мною выше эпизодов: получилось беднее, чем мне рисовалось, когда я приступал к этой работе. Но я собрал тщательно все, что сохранила память, даже и менее значительное, ибо уже сейчас почти некому более подробно рассказать об этом периоде. Умер Плеханов. Умерла Засулич. Умер Мартов. И умер Ленин. Вряд ли кто-либо из них оставил свои мемуары. Разве что Вера Ивановна? Но об этом ничего не слышно. Из состава тогдашней редакции „Искры" остались Аксельрод и Потресов. Но оба они, не говоря уже о всяких других соображениях, в редакционной работе участвовали мало и на собраниях редакции были редкими гостями. Кое-что может рассказать Л. Г. Дейч, но и он прибыл за границу скорее к концу описываемого периода, незадолго до меня, и к тому же в редакционной работе прямого участия не принимал. Неоценимые сведения может дать и, надеемся, даст Надежда Константиновна. Она стояла тогда в центре

всей организационной работы, принимала приезжавших товарищей, наставляла и отпускала отъезжавших, устанавливала связи, давала явки, писала письма, зашифровывала, расшифровывала. В ее комнате почти всегда был слышен запах нагретой бумаги. И она нередко жаловалась, со своей мягкой настойчивостью, на то, что мало пишут, или что перепутали шифр, или написали химическими чернилами так, что строка налезла на строку и пр. Еще важнее, конечно, то, что в этой организационной работе, рука-об-руку с Лениным, Надежда Константиновна могла изо дня в день наблюдать все, что происходило в нем и вокруг него. Но, тем не менее, и эти строки, надеюсь, не окажутся лишними,—в частности и потому, что на заседаниях редакции Н. К., по крайней мере при мне, бывала редко. А главное потому, что иногда свежий глаз со стороны замечает то, чего не видит глаз привычный. Так или иначе, то, что я мог рассказать, рассказано. А теперь я хочу высказать еще несколько общих соображений насчет того, почему, на мой взгляд, должен был за время старой „Искры" произойти решающий перелом в политическом самочувствии Ленина, в его, так сказать, самооценке; почему этот перелом был неизбежен и почему он стал необходим.

Ленин прибыл за границу сложившимся 30-летним человеком. В России, в студенческих кружках, в первых социал-демократических группах, в ссыльных колониях он занимал первое место. Он не мог не чувствовать своей силы уже по одному тому, что ее признавали все, с которыми он встречался, и с которыми он работал. Он уехал за границу уже с большим теоретическим багажем, с серьезным запасом политического опыта и весь насквозь пронизанный той

целеустремленностью, которая составляла его духовную природу. За границей его ждало сотрудничество с „Группой Освобождение Труда“ и, прежде всего, с Плехановым, с глубоким и блестящим истолкователем Маркса, с учителем нескольких поколений, с теоретиком, политиком, публицистом, оратором европейского имени и европейских связей. Рядом с Плехановым стояли два крупнейших авторитета: Засулич и Аксельрод. Не только героическое прошлое выдвигало Веру Ивановну в передний ряд. Нет, это был проницательнейший ум с широким, преимущественно историческим образованием и с редкой психологической интуицией. Через Засулич преимущественно шла, в свое время, связь „Группы“ со стариком Энгельсом. В отличие от Плеханова и Засулич, которые были теснее всего связаны с романским социализмом, Аксельрод представлял в „Группе“ идеи и опыт преимущественно германской социал-демократии. Это различие „сфер влияния“ выражалось также и в месте их жительства. Плеханов и Засулич жили преимущественно в Женеве, Аксельрод — в Цюрихе. Аксельрод сосредоточился на вопросах тактики. У него, как известно, нет ни одной теоретической или исторической работы. Он и вообще писал мало. Но то, что он писал, почти всегда имело своей темой тактические вопросы социализма. В этой области Аксельрод проявлял и самостоятельность, и проницательность. Из многочисленных разговоров с ним (одно время мы были с ним очень дружны, как и с Засулич) я ясно себе представляю, что многое из написанного Плехановым по вопросам тактики было плодом коллективной работы, и что в этой работе доля Аксельрода была гораздо более значительна, чем может показаться только по

печатным документам. Сам Аксельрод не раз говорил Плеханову, несомненному и любимому вождю „Группы“ (до разрыва в 1903 г.): „У тебя, Жорж, длинный хобот, ты везде достаешь, что тебе нужно“... Аксельрод, как известно, написал предисловие к присланной из России рукописи Ленина „Задачи русских социал-демократов“. Этим актом „Группа“ как бы усыновляла молодого даровитого русского работника, но в то же время этим самым как бы свидетельствовала, что дело идет об ученике. Именно в таком звании Ленин прибыл за границу вместе с двумя другими учениками. Я не присутствовал при первых встречах учеников с учителями, при тех беседах, где вырабатывалась основная линия „Искры“. Нетрудно, однако, понять, в свете наблюдений описанного полугодия и особенно в свете второго съезда партии, что самая острота конфликта, помимо своей только-только намечавшейся принципиальной стороны, имела причиной неправильность глазомера стариков в оценке роста и значения Ленина.

В течение второго съезда и сейчас же после него негодование Аксельрода и других членов редакции против поведения Ленина сочеталось с недоумением: „Как мог он на это решиться?“ Недоумение еще более возросло, когда, после разрыва Плеханова с Лениным, что произошло уже вскоре после съезда, Ленин продолжал тем не менее борьбу. Настроение Аксельрода и других, может быть, можно было бы вернее всего выразить словами: какая его муха укусила? „Ведь не так давно он приехал за границу,— рассуждали старшие,—приехал учеником и держал себя, как ученик (на этом особенно настаивал Аксельрод в своих рассказах о первых месяцах „Искры“). Откуда вдруг эта самоуверенность? Как мог он ре-

шиться? и пр. Затем догадка: он подготовил себе почву в России, недаром все связи были в руках Надежды Константиновны; там-то и шла втихомолку обработка русских товарищей против „Группы Освобождение Труда". Не менее других негодовала, но может быть несколько более других понимала Засулич. Недаром она говорила Ленину еще задолго до раскола, что у него, в отличие от Плеханова, „мертвая хватка". И кто знает, какое впечатление произвели в свое время эти слова? Не повторил ли себе Ленин: „Да, это верно: кому же, как не Засулич, знать Плеханова? Он потреплет, потреплет и бросит, а задача совсем не такова, чтобы трепать и бросать... Тут нужна мертвая хватка". В какой мере и в каком смысле верны слова о предварительной „обработке" русских товарищей, об этом, конечно, лучше, чем кто бы то ни было, может рассказать Надежда Константиновна. Но в более широком смысле можно и без фактических справок сказать, что такая подготовка совершалась. Ленин всегда готовил завтрашний день, утверждая и укрепляя сегодняшний. Его творческая мысль никогда не застывала, а бдительность не успокаивалась. И когда он убедился, что „Группа Освобождение Труда" неспособна взять в свои руки непосредственное руководство боевой организацией пролетарского авангарда в обстановке близящейся революции, он сделал отсюда для себя все практические выводы. Старики ошиблись, и не одни только старики: это был уже не просто молодой, выдающийся работник, которого Аксельрод отметил дружественно-покровительственным предисловием, это был вождь, насквозь целеустремленный и, думается, окончательно почувствовавший себя вождем, когда он в работе стал

бок-о-бок со старшими, с учителями, и убедился, что он сильнее и нужнее их. Правда, и в России Ленин, по выражению Мартова, был первым среди равных. Но там дело шло все же лишь о первых социал-демократических кружках, о молодых организациях. Русские репутации носили еще на себе печать провинциализма: сколько тогда значилось русских Лассалей и русских Бебелей! Другое дело „Группа Освобождение Труда“: Плеханов, Аксельрод и Засулич стояли в том же ряду, что Каутский, Лафарг, Гэд и Бебель, подлинный немецкий Бебель! Измерив в работе свои силы рядом с ними, Ленин измерил себя большой европейской меркой. Именно в столкновениях с Плехановым, когда редакция группировалась по двум осям, Ленин должен был получить тот закал уверенности, без которого он в дальнейшем не был бы Лениным.

А столкновения со стариками были неизбежны. Не потому, что налицо были заранее две различные концепции революционного движения. Нет, в тот период этого еще не было. Но самый угол подхода к политическим событиям, организационным и вообще практическим задачам, следовательно, и ко всей надвигавшейся революции, был глубоко различен. Старики успели к этому времени провести в эмиграции уже 20 лет. Для них „Искра“ и „Заря“ были, прежде всего, литературным предприятием. Для Ленина же — непосредственным инструментом революционного действия. В Плеханове, как это обнаружилось несколькими годами позже (1905—1906 г.г.) и еще более трагически — в эпоху империалистской войны, глубоко сидел революционный скептик: он сверху вниз глядел на ленинскую целеустремленность, имея на этот счет в запасе не одну снисходительно-ядовитую шутку.

Аксельрод, как уже сказано, ближе стоял к проблемам тактики, но мысль его упорно не хотела выходить из круга вопросов подготовки к подготовке. Аксельрод нередко с величайшим искусством анализировал тенденции и оттенки внутри разных социалистических группировок революционной интеллигенции. Он был гомеопатом дореволюционной политики. Его методы и приемы носили аптечный, лабораторный характер. Величины, которыми он оперирует, всегда очень малы: это кружки, ему приходится класть на весы мельчайшие гирьки. Недаром Л. Г. Лейч относил Аксельрода к типу Спинозы, и недаром Спиноза был гранильщиком алмазов: эта работа, как известно, требует увеличительного стекла. А Ленин брал события и отношения оптом, учился мыслью охватывать социальные глыбы и этим отражал надвигавшуюся революцию, которая и Плеханова и Аксельрода застигла врасплох. Непосредственнее всего из стариков приближение революции чувствовала, пожалуй, Вера Ивановна Засулич. Ее живое, чуждое педантства, насыщенное интуицией историческое образование помогло ей в этом. Но она чувствовала революцию, как старая радикалка. Она была до глубины души убеждена в том, что все элементы революции у нас уже налицо, за вычетом „настоящего", уверенного в себе либерализма, который должен взять в руки руководство, и что мы, марксисты, своей преждевременной критикой и „травлей" только запугиваем либералов и этим самым играем, в сущности, контр-революционную роль. В печати Вера Ивановна этого, правда, не говорила. И в личных беседах не всегда договаривала до конца. Но это тем не менее было ее задушевным убеждением. И отсюда вытекал ее антагонизм с Павлом

(Аксельродом), которого она считала доктринером. Действительно, в пределах тактической гомеопатии Аксельрод неизменно отстаивал революционную гегемонию социал-демократии. Он только отказывался перевести эту точку зрения с языка групп и кружков на язык классов, когда классы пришли в движение. Тут-то и открывалась пропасть между ним и Лениным.

Ленин приехал за-границу не как марксист „вообще", не для литературно-революционной работы „вообще", не просто для продолжения 20-тилетней работы „Группы Освобождение Труда". Нет, он приехал, как потенциальный вождь, и не вождь „вообще", а вождь той революции, которая нарастала, которую он чувствовал и осязал. Он приехал, чтобы в кратчайший срок создать для этой революции идейную оснастку и организационный аппарат. И не в том смысле я говорю об его неистовой и дисциплинированной в то же время целеустремленности, что он, Ленин, стремился содействовать торжеству „конечной цели", — нет, это слишком обще и пусто, — а в том конкретном, прямом, непосредственном смысле, что он поставил себе практической целью: ускорить пришествие революции и обеспечить ее победу. Когда Ленин в своей заграничной работе оказался плечом к плечу с Плехановым, когда исчезло то, что немцы называют пафосом дистанции, — для „ученика" не могло не стать физически ясным, что в том вопросе, который он считал для данного времени основным, ему не только почти нечему учиться у учителя, но что выжидательно-скептический учитель способен, благодаря своему авторитету, затормозить спасительную работу и оторвать от него, от Ленина, более молодых сотрудников. Отсюда зоркая забота Ленина о составе редакции,

отсюда комбинации семерки и тройки, отсюда стремление отделить Плеханова от „Группы Освобождение Труда“, создать руководящую тройку, в которой Ленин всегда имел бы Плеханова в вопросах революционной теории и Мартова — в вопросах революционной политики. Личные комбинации менялись; но „антиципация“ оставалась в основном неизменной и, в конце концов, стала костью, плотью и кровью.

На 2-м съезде Ленин завоевал Плеханова, но ненадежно; одновременно он потерял Мартова и—потерял навсегда. Плеханов, повидимому, что-то почувствовал на 2-м съезде; по крайней мере, он сказал тогда Аксельроду, в ответ на его горькие и недоуменные упреки по поводу Плехановского союза с Лениным: „Из такого теста делаются Робеспьеры“. Я не знаю, приводилась ли когда-либо эта замечательная фраза в печати, и известна ли она вообще в партии; но за точность ее я ручаюсь. „Из такого теста делаются Робеспьеры!“— И даже нечто гораздо большее, Георгий Валентинович! — ответила история. Но, очевидно, это историческое откровение очень скоро поблекло в сознании самого Плеханова. Он порвал с Лениным и вернулся к скептицизму и к едким шуткам, впрочем, утрачивавшим от времени свою едкость.

Но в „раскольнической“ антиципации дело шло не об одном Плеханове и не об одних стариках. Вторым съездом вообще завершалась некоторая первоначальная стадия подготовительного периода. То обстоятельство, что „искровская“ организация совершенно неожиданно раскололась на съезде почти пополам, само по себе свидетельствует о том, что в этой первоначальной стадии было еще много недоговоренности. Классовая партия только-только пробивала скорлупу интеллигент-

ского радикальства. Приток интеллигенции к марксизму еще не прекратился. Студенческое движение левым своим флангом примыкало к „Искре". В среде интеллигентской молодежи, особенно за-границей, группы содействия „Искре" были очень многочисленны. Все это было молодо-зелено и в большинстве неустойчиво. Студентки-искровки задавали референту вопрос: „Можно ли искровке выйти замуж за морского офицера?" На втором съезде участвовало только трое рабочих, да и те были привлечены не без труда. „Искра", с одной стороны, собирала и воспитывала кадр профессиональных революционеров и привлекала под свое знамя молодых героически настроенных рабочих. С другой стороны, значительные группы интеллигенции лишь проходили через „Искру", чтобы вскоре затем вылинять в „освобожденцев". „Искра" имела успех не только как марксистский орган строющейся пролетарской партии, но и просто как боевая политическая, крайняя левая публицистика, которая не лезет за словом в карман. Более радикальные элементы интеллигенции соглашались сгоряча бороться за свободу под знаменем „Искры". Наряду с этим постепеновски-педагогическое недоверие к силам пролетариата, которое раньше находило свое выражение в экономизме, теперь успело, и притом довольно искренне, перекраситься под „Искру", не меняя своего существа. В конце концов, блестящая победа „Искры" была гораздо шире, чем ее реальные завоевания. В какой мере ясно и полно Ленин отдавал себе в этом отчет еще до второго съезда, я сейчас судить не берусь, но во всяком случае яснее и полнее, чем кто бы то ни было. В тех довольно пестрых настроениях, которые группировались под знаменем „Искры", находя

свое преломление и в самой редакции, Ленин один представлял завтрашний день со всеми его суровыми задачами, жестокими столкновениями и неисчислимыми жертвами. Отсюда его настороженность и боевая подозрительность. Отсюда отчетливая постановка организационных вопросов, нашедшая свое символическое выражение в вопросе о членстве партии („§ 1 Устава"). Вполне естественно, если на втором съезде, который собирался пожать плоды идейных побед „Искры", именно Ленин начал работу нового расслоения, нового, более требовательного, более сурового отбора. Чтобы решиться на такой шаг, имея против себя половину съезда, имея Плеханова ненадежным полусоюзником и всех остальных членов редакции открытыми и решительными противниками; чтобы решиться в таких условиях на новый отбор, нужно было иметь уже совершенно исключительную веру не только в свое дело, но и в свои силы. Эту веру дала Ленину та опытом проверенная самооценка, которая выросла из совместной работы с „учителями" и из первых конфликтных зарниц, предвещавших будущие громы и молнии раскола. Нужна была вся могущественная целеустремленность Ленина, чтобы начать такое дело и довести его до конца. Ленин неутомимо натягивал тетиву до предела, до отказа, и в то же время осторожно пробовал пальцем: не слабеет ли где, не грозит ли рассучиться?—Нельзя так натягивать, лопнет лук!—кричали с разных сторон. — Не лопнет,—отвечал мастер. — Лук наш из неломкого пролетарского материала, а партийную тетиву нужно натянуть еще и еще, ибо придется далеко посылать тяжелую стрелу!

5 марта 1924 г.

2р. 50к.

